

Теннадий Хлебников

На пределе

Геннадий Хлебников

**На пределе. Документально-
художественная повесть
о строительстве
Комсомольска-на-Амуре**

«Издательские решения»

Хлебников Г. Н.

На пределе. Документально-художественная повесть о
строительстве Комсомольска-на-Амуре / Г. Н. Хлебников —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-903238-6

Впервые в свободном доступе для скачивания настоящая книга правды
о Комсомольске от советского писателя-пропагандиста Геннадия Хлебникова.
«На пределе»! Документально-художественная повесть о Комсомольске в годы
войны.

ISBN 978-5-44-903238-6

© Хлебников Г. Н.
© Издательские решения

Содержание

Вступление	6
Пища огню	7
Колонисты	20
Конец ознакомительного фрагмента.	27

На пределе

Документально-художественная повесть о строительстве Комсомольска-на-Амуре

Геннадий Николаевич Хлебников

© Геннадий Николаевич Хлебников, 2018

ISBN 978-5-4490-3238-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Впервые в свободном доступе для скачивания настоящая книга правды о Комсомольске от советского писателя пропагандиста Геннадия Хлебникова. «На пределе»! Документально-художественная повесть о Комсомольске в годы войны.

Если книга вам понравилась у вас есть возможность выразить доступную материальную благодарность наследникам писателя, его семье:

Карта Сбербанка: 4276 8700 1457 4177

Киви-кошелек: +7 962 296 9327

Хлебников Г. Н.

«На пределе». Документальная повесть. – Комсомольск-на- Амуре, 2002.

Повесть «На пределе» является продолжением повествования «Испытание доверием» о кирпичном заводе, его коллективе, трудом которого построены заводы и жилые кварталы города юности.

Особенностью творчества Г. Хлебникова является строгая документальная основа всех его произведений, что особенно ценно в изучении подлинной истории города.

© Хлебников Г. Н., 2002 г.

Вступление

Первостроители Комсомольска называли свой молодой город на Амуре «форпост обороны на Дальнем Востоке». Именно эта идея вдохновляла их на самоотверженный труд, помогала преодолевать немалые лишения, особенно в первые годы строительства. Люди жили в ветхих бараках, скудно питались, довольствовались ватной фуфайкой, многократно чиненной обувью. Еще в канун Великой Отечественной войны город представлял собой отдельные барачные поселки, разбросанные в поредевшей от корчевки тайге, сильно заболоченной. Сам город еще предстояло выстроить. Но заводы – судостроительный, авиационный, ради которых прибыли на Амур тысячи молодых строителей в 1932 году, уже были построены и выпускали нужную стране продукцию: корабли для военного Тихоокеанского флота, боевые самолеты. Кстати, в первые дни войны бомбардировщики, построенные авиастроителями Комсомольска, бомбили Берлин... Вели охрану морских границ на Дальнем Востоке надводные и подводные корабли, построенные амурскими корабелями.

С первых же дней войны тысячи комсомольчан ушли на фронт защищать Родину от фашистов, а оставшиеся в городе трудились с удвоенной силой, воодушевленные призывом: «Все для фронта, все для победы!». Полным ходом продолжалось строительство новых промышленных предприятий, расширение уже действующих: судостроительного и авиационного. В годы войны построены и вступили в строй первенец Дальневосточной металлургии завод «Амурсталь», заводы нефтеперерабатывающий, «Амурлитмаш», электротехнический, сернокислотный. Для сооружения только этих объектов оборонного значения потребовались десятки миллионов кирпичей. И эту задачу выполнил в основном кирпичный завод №1 Стройтреста №6, который стоит возле озера Мылки.

До войны на этом заводе работали около трех тысяч человек. Это был первый действующий завод в молодом городе, выпускающий продукцию. Работали на нем в основном мужчины. Труд керамика – тяжелый мужской труд... Коллектив завода состоял из бойцов особого строительного корпуса, комсомольцев первого и второго призыва, вербованных рабочих. С первых дней войны почти все мужчины ушли на фронт. На заводе остались в основном женщины. Пришли в цехи кирпичного завода жены, сестры, невесты ушедших на фронт. И труд этих женщин в те грозные годы войны был также стратегически важным, как труд корабелов, авиастроителей, металлургов, нефтяников. Миллионы кирпичей требовались строителям оборонных предприятий, да и здания культурно-бытового назначения в городе строились, хотя и в меньших масштабах.

О поистине героическом труде женщин-кирпичниц рассказываю я в этой строго документальной повести. Я постарался сохранить большинство подлинных имен героев повествования, достоверность картин минувшего из жизни коллектива завода, являясь непосредственным участником всех этих событий.

Пусть имена этих скромных тружениц и деяния их сохранятся для потомков в истории нашего легендарного города.

Г. Хлебников, первостроитель, Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре, член Союза писателей России.

Пища огню



Яфясова Зина – дозировщица глины

В дверь постучали тревожно и требовательно. Я отодвинул засов и в комнату, на клубах морозного пара, всплыла, одетая в мужской ватный костюм, неуклюжая фигура работницы Нюры Кушаковой. Она высвободила рот от шерстяной шали и сказала, протягивая мне записку:

– От директора... Срочно сказали... – и скрылась за дверями. Я развернул бумажку: рукой Кондратенко начертано торопливо: «Приходи скорее». Заныло сердце в недобром предчувствии. Я досадовал, что не успел узнать от Нюры, что там случилось на заводе в этот вечерний час. Авария? Несчастный случай? Слово «скорее» Кондратенко зря не напишет. Да я только два часа назад расстался с ним и ушел домой. Больше суток занимался очисткой узкоколейных путей от снега. Вместе с рабочими орудовал лопатой. В таком срочном деле личный пример необходим.

А за окном неистовствовала, набирала силу сумасшедшая таежная пурга, стекла дребезжали, по-волчьи выло в печной трубе. За окном уже темнело, затух, так и не успевший как следует разгореться, короткий зимний день. С лихорадочной поспешностью одеваюсь, забываю про дымящийся парком чайник на столе, выбегаю на улицу и сразу же окунаюсь в шевелящееся снежное месиво. Вот уже несколько дней снег сыплет с неба как из прорвы! К нему примешивается снег, поднятый свирепым ветром с земли. В этой каше, да еще вечером, в двух шагах ничего не видно. С трудом преодолевая тугой напор ветра, бреду по колено в снегу по той же узкоколейке, которую чистил сегодня утром. Она снова покрыта сугробами, так что и шпалы под ногами не прощупываются. Еще неделю назад это привычное буйство пурги я бы перенес спокойно. Штормовая погода всегда вызывает во мне душевный подъем, я воспринимаю ее как вызов природы, которому нужно противостоять. Но сегодня у меня нет такой уверенности в своих силах, сегодня ее буйный разгул тревожит и страшит меня. Сегодня я физически ощущаю груз ответственности на своих плечах за судьбу завода, оказавшегося в коварных объятиях снега, за судьбу людей, работающих день и ночь в его промозглых, холодных цехах. Эти люди тоже сейчас с тревогой прислушиваются к реву ветра. В дни натиска стихии все работники завода, независимо от ранга, выходят разгрести снег на дорогах, площадках под готовый кирпич. Все ненавидят эту дополнительную и ненужную нагрузку, все проклинаят погоду, «небесную канцелярию», не вовремя обрушившую на людей лавину снега.

Кажется, сбился с узкоколейки... Иду теперь целиной, держа направление на желтые шарики электрических фонарей, бесполезных в такой круговерти. Еле видны темные очертания приземистых сараев. Вон светится окошко конторы. Сметая снег с валенок, вхожу в кабинет Кондратенко. Он сидит за столом в пальто, в шапке. Он прижимает крепко к уху телефонную трубку и напряженно слушает, заметив меня, делает знак рукой: «Тише!». Вот лицо его оживляется, он кричит в трубку:

– Станция? Кто у телефона? Будкин? Товарищ Будкин, уголь когда подашь? Не знаешь? Как это – не знаешь! У меня топливо кончилось. Запас? Нету у меня запаса, какой к черту запас! Сегодня подавай вагоны, слышишь? В горком буду жаловаться. Я не пугаю, я требую... Снег на путях? Ну и что же? Зимой, между прочим, снег всегда бывает на путях. Товарищ Будкин! Але, але!.. Бросил трубку, чертыка!

– Кондратенко повесил трубку на крючок деревянного аппарата, дал «отбой». Он долго молча смотрит на меня опечаленными карими глазами, расстроено спрашивает:

– Что делать будем? На гофманке угля нет. Ни грамма!

В глазах Кондратенко я прочитал осуждение и даже презрение к моей особе. И я понимал его состояние. Ведь именно я сегодня утром бодро доложил директору, что угля хватит на неделю. Информацию эту я сделал после не менее бодрого мне доклада начальника топливного склада Курносова.

– Постой! Но Курносов мне даже показал, где лежит уголь, – томясь от унижения, оправдывался я.

– И я видел... Это оказался просто сугроб... Ошибся Курносов. Стали копать – земля... – морщась, говорил Кондратенко. Искося взглянув на меня, продолжал: – ЧП, главный инженер. Что делать будем? Ты как представляешь себе дальнейшие события? Молчишь? Все будет выглядеть примерно так: огонь в обжиговой печи потухнет, а если заново разжигать – когда топливо достанем, – то дней десять уйдет на это. Так? Это четверть миллиончика кирпичиков как не было. А рабочим чем платить? Ну, естественно, наше с тобой правление наверняка может закончиться. С позором, между прочим, с большим позором. И партбилеты на стол, да и еще кое-что по законам военного времени... Али не так?

Кондратенко задавал вопросы с издевкой, таким тоном, вроде сам ко всему этому происходящему не имеет никакого отношения. Меня это злило, хотелось сказать: «Зачем злорадствуешь, не над собой ли злорадствуешь, дорогой мой Иван Дмитриевич». Но не сказал я таких слов. Слишком хорошо я знал этого человека, чтобы не ожидать от него иного решения. И не ошибся. Кондратенко вдруг неожиданно, озорно так, ухмыльнулся и сказал:

– А выход есть.

– Какой! – подскочил я.

Кондратенко вышел из-за стола, открыл дверь в приемную, где у коммутатора сидела пожилая дежурная, крикнул:

– Ольга Яковлевна, Курносова мне! Он на гофманке.

Вернулся, уселся в прежней позе, бочком, продолжая молчать, по-мальчишески довольный, что заинтриговал меня. Даже песенку свою любимую замурлыкал: «Дывлюсь я на нибо тай думку гадаю...»

Не прошло и трех минут, как на пороге появился Курносов. Вид у него виноватый, сконфуженный.

– Звали?

– Что предлагаешь? – жестко спросил Кондратенко. – Печь тушить?

– Не знаю, – растерянно пробормотал Курносов, бледнея.

– Зато я знаю! – хлопнул ладонью по столу Кондратенко. – Бери мужиков, где отыщешь, ломы в руки – и ломай сараи сушильные.

Озадаченный Курносос так и замер с поднятой рукой, собираясь снять шапку. Пристально взглянул на директора: не шутит?

– Ну что смотришь, иди действуй, – повторил приказание Кондратенко.

Лицо Курнососа стало строгим и озабоченным. Он присел на стул, стоявший возле двери, шапку на колени, явно не торопится выполнять приказ.

– Ты чего? Я не шучу, – заметил, раздражаясь, Кондратенко.

– Мне тоже не до шуток, Иван Дмитриевич, – отозвался Курносос. – Ломать сараи я не стану. Уголовщина, товарищ директор. Если будешь настаивать...

– Что? В трест станешь звонить? – уколол Кондратенко.

– Зачем звонить, бумагу официальную давай, – погладил себя по толстому колену Курносос.

Кондратенко задвигал ящиками стола, отыскивая лист бумаги, быстро что-то написал, подал Курнососу. Тот внимательно прочел, шевеля губами, удовлетворенно кивнул и вышел. Едва за ним закрылась дверь, я кинулся к Кондратенко:

– Прав Курносос: уголовщина это, Иван. Сараи на балансе...

– А ты что предлагаешь? Молчишь? То-то! Выбора-то нам, Геннадий, нет. Как-нибудь выкрутимся... Я буду ломать только стеллажи, крыши-то сохранятся. Поселковый народ и так всю войну лушит наши сараи на дрова... Иди-ка ты лучше, поднимай баб наших... В формовочный сходи, на карьер. Я обжиг возьму на себя, садку, сушку. Весь завод выведем. А не то через пару часов – я смотрел – огонь в гофманке потухнет...

Получив такое указание, я сразу же оставил свои опасения по части ответственности нашей с директором за сараи. Но я медлил. Я с замиранием сердца представлял себе, как стану уговаривать плохо одетых, плохо обутих женщин: в старых резиновых сапогах, заплатанных башмаках, в тряпочных постелах выйти из влажного карьера или формовочного цеха в такую морозную метельную темь таскать бруску и доски на гофманскую печь. А снегу по пояс... Все это прочитал на моем лице Кондратенко, сказал мягко, сочувственно:

– Иди, Геннадий. Мы сделаем людям хуже, если не поведем, пожалеем их сейчас. Во сто раз хуже. Завод – ихняя жизнь, детей ихних, стариков. Люди нас поймут, иди, не тяни время...

Зимний карьер – изобретение местных амурских умельцев. Нигде, пожалуй, не встретишь такого странного сооружения. В Приамурье при малом снеге в наших местах и сильных морозах, когда земля промерзает до трех метров в глубину, глину и взрывчаткой не возьмешь. И чтобы сохранить глину талой в течение всей зимы, осенью на почву укладывают в шахматном порядке бревна, соединяют их скобами, поверху накрывают досками. А на доски насыпают полуметровый слой опилок, присыпают их землей, чтобы не сдуло ветром. Вот и готова надежная крыша для зимнего карьера. Затем делают врез в грунт, как при прокладке тоннеля, навешивают ворота, подводят сюда узкоколейную дорогу. Глину грузят в кузовные вагонетки и тянут их с помощью троса и лебедки в формовочный цех. До весны тысячи кубометров глины возьмут из-под крыши, и тогда внутри образуется фантастический зал со множеством колонн – деревянных подпорок. Здесь довольно тепло: день и ночь топят печи, сделанные из кузовов тех же вагонеток. Старики, старухи, ослабевшие от недоедания молодые девушки, топят эти печи, подтаскивая метровой длины тяжелые поленья. А ведь истопник на заводе – самый легкий труд.

С трудом приоткрыл ворота и вошел в карьер. После метельной уличной сумятицы в карьере чувствуешь себя как в теплице. Ярко горят электрические лампы, полыхают жаром красные бока железных печек. Некоторые стойки, сделанные из тополя, зеленеют новыми несвоевременными побегами, так что и впрямь – теплица... Но теплота эта обманчива. Сырость тут. Она исподволь точит здоровье людей.

Как и в других цехах, здесь работают почти одни женщины. Они исполняют тяжкую, извечно мужскую работу землекопов. Десять часов они не покидают карьера, копая жесткую

глину и накидывая ее в вагонетки. Трое мужчин на весь карьер: прицепщик-лебедчик, плотник, ставящий подпорки под крышу, и слесарь, латающий убогую карьерную технику.

Голос бригадирши землекопов Марфы Лукиной слышится в глубине карьера. Туда и направляюсь, заранее поеживаясь от предполагаемых острот бойкой на язык Марфы. Зычным голосом она произносит:

– Бабоньки, перекур! Смотри – кто к нам пожаловал! Сам главный инженер. Милости просим! – Марфа втыкает лопату в красную глину и, несмотря на внушительные свои габариты, легко соскакивает с уступа вниз. Как и другие землекопши, Марфа в одной ситцевой кофточке, рукава засучены. Она оттирает концом головного платка красное потное лицо, продолжая балагурить. Иначе она не может. И не всегда сразу догадаешься: всерьез говорит Марфа, или шутит?

– Что-то зачастил к нам главный инженер. Неспроста это, бабоньки, – продолжает травить Марфа. – Ох, неспроста! Это он на Алевтину посмотреть приходит, – косит озорным взглядом на молоденькую некрасивую Алевтину. У той слезы даже выступают из глаз. Она бросает лопату и убегает в темный угол.

– Хватит тебе, Марфа, – одергивает шутницу рассудительная Мария Гребнева. – Человек по делу пришел, а ты – шуточки.

– Вот уж, и пошутить теперь нельзя! – не смущается Марфа. – Ведь можно пошутить, Гена?

– Можно, – соглашаюсь я, не подавая виду, что шуточки бригадирши всегда приводят меня в смятение.

– Ну, а какие дела? – пытливо уставилась на меня бригадирша.

– А такие, что надо сейчас всем пойти дрова таскать на гофманку. Печь затухает... – выпалил я с отчаянной отвагой, стараясь поддержать шуточный тон, взятый Марфой.

– Это какие дрова?

– В пургу-то.

– В резиновых сапогах?.. – одна из женщин выставила ногу в рваном резиновом мужском сапоге.

Я пытаюсь объяснить «обстановку», но в гвалте женских возмущенных голосов меня никто не слышит. Властный голос Марфы заставил всех умолкнуть.

– Бабы, вы чего – белены объелись? Чего кричать? Человек за делом пришел, а вы – в крик. Ведь сами знаете: кричи не кричи, идти надо. Вы что – хотите, чтобы печь потухла? Нет. Тогда давайте без шума и крика. Какие дрова, откуда? Пилить что ли придется? – обратилась ко мне Марфа.

Я объяснил. Неожиданно для меня, слова мои успокоили женщин. Видно их не так страшила пурга и ночь, как перспектива пилить толстые бревна. Таскать груз и легче, и теплее, это каждый знает. Шумно, с причитаниями, одевались, кутали головы в платки, подвязывали ушанки, у кого они были, поудобнее переобувались. Сорочьей стаей вывалились из ворот карьера на улицу. Я с Марфой впереди, остальные цепочкой сзади. Пока я беседовал в карьере с женщинами, ветер как будто усилился. Он распахивал полы, рвал платки с голов, сбивать норвил с ног оплошавшего путника, забивал снегом глаза и рот.

В сушильном сарае несколько пожилых мужиков, под водительством Курносова, помедвежьим рушили решетчатые стенки стеллажей, разбирали их на части. Гора брусьев росла на глазах. Женщины брали по два-три бруска и несли на плече на обжиговую печь, отстоящую от сарая за четверть километра.

– Бабоньки, девчатки, дорогие вы мои, серебряные! Больше трех брусков не брать! Слышите?! – покрикивал Курносов. – Гвозди в брусках, поосторожнее, гвозди!

А сам успевал и ломать, и относить очередную охапку брусьев на печку.

Включился в работу и я. Несу, в глаза вдруг ударил яркий свет прожектора. Наверное директор распорядился. А вот я не догадался... И пусть луч прожектора с трудом пробивал снежную пелену все же ходить стало виднее, и работа оживилась. К землекопшам присоединились формовщицы, сушильщицы, садчицы. Беспереывным потоком двигались люди по тропе-траншее снежной, скользя и падая: неспешно – с ношей на плече, почти бегом – порожняком (да ветер в спину)...

Спускаюсь с высокого бремсберга обжиговой печи, и вижу всю эту необыкновенную картину напряженного и яростного труда женщин. Гляжу и плакать хочется от жалости к ним, безответным труженицам, вот уже четвертый год войны несущим на своих слабых женских плечах тяжкий груз труда и забот, который не каждому мужику под силу. И хочется взять потяжелее ношу, побыстрее шагать, не показывать усталости на виду у всех. А тут еще эта озорница Марфа кричит сзади:

– Ей, Генаша, берегись, зашибу ненароком. Тоже богатырь: взял две былинки и качает парня. В коленках жидок? – хохочет, заливается неугомонная Марфа. Смущает меня подначка, но обиды на Марфу нет. На нее нельзя обижаться, так умеет держать себя с людьми, «край» знает... И самый обидчивый быстро отходит после ее, порой очень соленых и острых, шуточек; и тут же вместе со всеми подсмеивается над собой.

В очередной раз свалив на печь охапку брусков, собрался бежать обратно, но встретился с Бабушкиным. Наш заводской энергетик, с монтажными когтями через плечо, стоял на бремсберге и покуривал сигарку. Он крикнул:

– Стой, Гена! Передохни маленько. Кури? У меня самосад-стенолаз. Курнешь? – протянул кисет и свернутую в рулончик газетную бумагу. Я принял кисет, стал крутить «козью ножку». А Бабушкин, с присушим ему апломбом, заговорил:

– Вы с Иваном, я вижу, за сарай принялись? А там и до барачков дело дойдет?..

– Не дойдет... – обиделся я.

– Кто знает... А я вам обоим что говорил? Говорил: не берите эту обузу от Никандрова, – повел рукой вокруг. – Ловкач он, а вы – лопухи. Почуял Никандров, что войне скоро конец, что может она и здесь, на востоке, теперь начнется, он – наутек.

– Болен Никандров, по болезни он... – вяло защищаю Никандрова.

– Кто поверит! По болезни... – поморщился Бабушкин. – Тридцать мужику, здоров как бычок. Хитрован! Сбежал. Ты это и сам хорошо знаешь. Просто оправдываешь и свой поступок, чтобы не жгло. Что, угадал? Точно так. Жук он, Никандров. И всегда был жуком.

– Скажешь не деловой был человек? – заступился я за Никандрова, молчаливо признавая правоту слов Бабушкина.

– Согласен. Но и жук. И струсил он. От войны неминуемой на востоке бежал. Как это у Лермонтова: «Бежал Гарун быстрее лани...» – продекламировал начитанный Бабушкин. И продолжал:

– Сарай в огонь – это начало. У вас с Иваном еще много будет неприятностей.

– А ты что, радуешься? – вспылил я.

– Вот чудак! Жалею я вас, как друзей жалею.

Я оставил Бабушкина и включился в людской конвейер. С муравьиной неумолимостью люди сновали взад и вперед по снежной утоптанной траншее. То и дело раздавались возгласы, тяжело дышащих носильщиц:

– Эй, поберегись!

– Куда прешь, не видишь что ли!

Наблюдая, как из снежной кисеи выплывают темные фигуры, подсвеченные прожектором, с трудом пробивающим своим призрачным светом снежную взвесь, я невольно вспомнил вот такую же неясную в метели и освещении фонарей темную фигуру Никандрова, мятущегося

по заводскому двору. Я стоял на низеньком крыльечке конторы и смотрел на него. Никандров заметил меня, подбежал с развивающимися на сильном ветру полами овчинной поддевки.

– Геннадий, Клименко не видел?

Шофера Сашку Клименко, лукавого молодого проныру, я не видел. Я быстро сообразил, в чем тут дело. Никандров еще утром предупредил Клименко, что вечером в шесть уезжает на вокзал. Клименко клятвенно обещал подать вовремя к конторе свою потрепанную полуторку, работающую на березовых чурках. Клименко всегда подобострастно вел себя с директором Никандровым, но стоило тому снять с себя высокие полномочия, как Клименко сразу стал наглым и заносчивым. В чем-то наверно отказал шоферу напоследок Никандров, и тот решил ему отомстить.

– Ах, подлец, какой подлец! – возмущался Никандров. – Билет у меня на сегодня... багаж отправлен... Подведет подлец! Ну что за мерзавец!

Пришлось включиться в поиски Клименко. Я нашел его дома. Шофер степенно чаевничал.

– Подождет, – с хохлацкой невозмутимостью говорил Сашка, неторопливо одеваясь. – Уезду, поспеет. А и опоздает – не велика беда, завтра уедет.

Я помогал Никандрову грузить на полуторку множество всяких узлов, узелков, коробок, ящичков, мешочков, кульков. Поражало количество вещей «при себе». В некоторых узлах, пакетах, ящиках угадывались консервы, копченая кета, новые пары валенок разных размеров. В иных тючках прощупывались ткани... Все, что выносил из директорского коттеджа Клименко, он с нарочитой небрежностью кидал в кузов полуторки.

– Поосторожнее! – сердился Никандров, страшно мучаясь от своего бессилия. Он был явно смущен моим присутствием и отпустить меня не решался, боясь остаться наедине со строптивым шофером. Весь этот багаж, приобретенный нечестным путем, казался мне позорным в дни общего народного бедствия. Утром я участвовал в дележке мешка лежалой соленой рыбы между нуждающимися, обремененными семьями работницами. А тут: теща, банки американской тушенки и лярда...

Никандров уехал, а я долго в тот день размышлял о нем. И совершенно противоречивые суждения об этом человеке одолевали меня.

Когда началась Великая Отечественная война, директором нашего кирпичного завода стал Вербенко. Но очень скоро был взят в управление треста, там стал секретарем ЦК ВКП (б). Вербенко выдвинул на свое место Никандрова. И всегда помогал ему, наставлял. Дела вел Никандров умело, вникал в любую мелочь на производстве, знал досконально технологию. Он умел увлечь людей, заставить работать с полной отдачей. Он умел быть суровым, умел быть доверительно душевным. Никандров соблюдал дистанцию с подчиненными, но искал повод сблизиться с ними накоротко, «спуститься в народ». Он и поплясать готов с работницами на празднике, и ребенка приласкает, и с девушками (сам холост еще) мог пошутить, позубоскалить. Словом, как говорят ныне, был коммуникабельным человеком, демократичным руководителем. Он был смелым и решительным. Я видел однажды, как он вскочил на полном ходу в кабину полуторки, которую хотели угнать с завода, схватился за руль, машина вильнула в канаву и перевернулась. Никандров мог погибнуть, но видимо не думал об этом. Так могут поступать очень смелые люди.

Никандров почему-то несколько выделял меня из всех, с кем был более или менее близок, и откровенно беседовал со мной, иногда высказывая свои оригинальные мысли о жизни вообще. Он был честолюбив, Никандров. Директорство свое на кирпичном заводе он считал первой ступенькой к большим номенклатурным высотам. Он старательно готовил себя к высокому назначению. Даже то обстоятельство, что он оставался холостым при таком избытке невест, было подчинено затаенной мечте о карьере. «Надо, чтобы жена соответствовала, – говаривал иногда он. – Представьте: ты министр, а жена у тебя вчерашняя свинарка Мотря,

двух слов связать не может. Нет, хорошая, умная и вышколенная жена – половина жизненного успеха».

Однажды он задержал меня после очередного совещания, мы остались вдвоем.

– Поговорить надо, – сказал, присаживаясь поближе. – Война-то идет к концу?

Да, война вступила в решающую фазу, и победоносно наступали наши войска. Клич: «Вперед, на Запад!» звучал орлиным кликом по всей стране от западных до восточных его рубежей. И уже строились планы послевоенной жизни, хотя еще умирали солдаты на фронте, умирали от истощения, болезней, непосильного труда люди в тылу. Но никакие беды не могли приостановить стремление народа к обновлению, к приведению в порядок своего общего дома, разоренного громилами, отмеченными антихристовой печатью паучьей свастики. И, конечно же, каждый человек строил свои личные планы соответственно со своими убеждениями и возможностями. Были планы у Никандрова. О них он и заговорил сейчас:

– Ты понимаешь, Вербенко сообщил мне, что подбирают людей для поездки в США. Инженеров, военных, ученых. От Комсомольска надо послать одного инженера. Вербенко говорит, что моя кандидатура вполне подойдет. Тут важно все: чтоб был истинно русский человек, вплоть до есенинских соломенных кудрей (а у меня такие), до цвета глаз (а у меня голубые), чтобы внешность приятна была (а я чем плох?). Ну и голова чтобы варила. Варит у меня? Думаю, что варит.

– А к чему тебе эта поездка?

– Ну для получения опыта, американского... Ну не это, конечно, главное... – сдержанно сказал Никандров, умолкнув.

– Что же тогда? – допытываюсь я.

– Главное – я побываю предварительно в Москве. Там установлю соответственные связи. Ты не знаешь, Гена, какая сила в связях! А я знаю, наслышан... Главное – после поездки в Америку я смогу остаться в Москве и распрощаться с этой дальневосточной ссылкой. И не директором кирпичного завода в Подмоскovie, а повыше место могу получить. В главке, например, а там...

– И в министерстве, – подсказал я.

– А что? Не исключено, не исключено, – Никандров заносчиво вздернул подбородок: признак окончания доверительного разговора. Теперь он застегнут на все пуговицы. Потребность излить душу прошла до следующего раза. Так он всегда...

В зарубежную делегацию Никандров почему-то не попал. Может эта делегация была отменена вообще, не состоялась. И Никандров долгое время не разговаривал со мной по душам. А вот перед новогодним праздником Никандров как-то разоткровенничался, изобразив при этом печальное лицо, что ему как всегда в таких случаях плохо удавалось: был он круглолиц, розовощек, как молоденький поросенок, присадист, с полноватым тазом. Невысок, вроде и неуклюж с виду, но на деле ловок, быстр в ходьбе, жестикуляции. Моргая белесыми ресницами, он со скорбным вздохом начал рассказывать о своих болезнях.

– Ты понимаешь, плохо спать стал. Иную ночь глаз не сомкну, а усну – удушье наступает. Измотался весь. К самому врачу Пендрии пошел на прием. Старик говорит: «Очень серьезно, молодой человек. Такую редкую болезнь мы здесь не можем лечить. Возможно в Москве? Туда обратись». А болезнь моя такая... – он вытащил из кармана гимнастерки (он носил погоны лейтенанта) бюллетень, протянул мне, – вот, читай...

Я взял голубой листок бюллетеня и прочел: «Синдром... невралгия... вегетативная нервная система». И еще что-то было приписано на листке неразборчивым докторским почерком. Оставалось посочувствовать Никандрову, что я и сделал вполне искренно.

– Брось ты все и поезжай в Москву, – посоветовал я.

– Легко сказать, – вздохнул Никандров. – А кто пустит? На фронте люди гибнут каждую минуту, а тут – синдром... – резонно возразил Никандров.

– Но ведь ты можешь умереть, инвалидом сделаться! – воскликнул я.

– В любую минуту, – обреченно согласился Никандров. – Но надо терпеть. Мы с тобой коммунисты, Гена. Нам нельзя поддаваться панике.

С откровенного товарищеского тона он привычно, наверно, и сам не замечая, перешел на язык напыщенный, каким он (и не только он!) изъяснялся с трибуны, во всех официальных обстоятельствах. И мне это не понравилось. Ну чего передо мной-то выпендриваться.

– Стой, не то говоришь, – прервал я его сентенции. – Ты не на активе. Мой совет: просись, отпустят, вот увидишь. Тебя ценят в тресте. Подлечишься, вернешься.

– Ты думаешь отпустят? – с надеждой спросил Никандров.

– Несомненно!

Вот такой произошел у нас разговор. И я уже позабыл о нем. Но как-то Никандров задержал меня в кабинете. С непривычным для него смущением, свидетельствующем о его душевных переживаниях, и подкупившем меня, он сказал:

– По твоему совету я обратился к управляющему трестом Барскому. Знаешь, что он мне сказал?

– Не пушу, – предположил я.

– Как раз не то. Он отпускает. «Поезжай, говорит, подлечись, Никандров, но кто тебя заменит? Найдешь замену, езжай».

– Кого-нибудь из треста подошлют, – предположил я.

– Исключено. Война четыре года идет... Сам знаешь, как с кадрами в тресте. «Ищи, – говорит Барский, – у себя на заводе».

Никандров прервал разговор, стал перебирать бумаги на столе. Видя, что он не намерен продолжать свои откровения, я покинул кабинет.

И вот мне теперь-то стало ясным, что тот раз Никандров прервал разговор наш с умыслом, чтобы дать мне подумать, поискать на заводе достойную ему замену, да еще включить в поиски других. Так оно и произошло. Я лично так и этак оценивал возможные кандидатуры и не находил равных Никандрову. Что ни говори, Никандров был энергичным, находчивым, дипломатичным, что очень и очень немаловажно для должности руководителя предприятия, пусть и маленького, как наше. Почти все годы войны Никандров обходился без главного инженера, без всякого заместителя, совмещая должности. Нет, на заводе не было человека равного Никандрову. Об этом я ему при удобном случае и сказал. Никандров пристально на меня посмотрел, словно взвешивал что-то в уме, и, усмехнувшись, сказал:

– Такой человек есть, Геннадий. Это – ты.

– Ну, это несерьезно, – только и нашел я что сказать ему в ответ.

– Очень даже серьезно, – возразил Никандров, снова оборвав на этом взволновавший меня разговор.

Теперь, при встрече, Никандров заговорщически посматривал на меня, напоминая этим взглядом о тайне, связывающей нас. Без сомнения, он ждал от меня ответа, а я медлил. Я разрабатывал разные варианты и все они приводили к одному, справедливому, по-моему мнению, выводу: мне не под силу предложенная ноша.

Новый год наступил под неумолчный грохот орудий, салютующих в честь все новых блистательных побед наших войск, сражающихся на вражеской земле. Это вселяло надежду, прибавляло сил народу. Он был самым радостным этот последний новогодний праздник военного времени. Была нарядная елка в заводском клубе, был концерт и танцы под аккордеон, на котором играл фронтовик-инвалид.

Никандров, как всегда, в центре внимания публики. Он в новом кителе, синих шевиотовых галифе, в хромовых сапожках, начищенных до зеркального блеска. Белая полоска подворотничка на полной розовой шее. Слегка надушен. Поблескивая стеклами очков в стальной оправе, Никандров отплясывает кадрили, меняя партнерш. Приглашал и Марфу Лукину,

оказавшуюся ловкой партнершей. Но чаще с ним в тот вечер танцевала его секретарша Нина Болотина, всеобщая любимица, волоокая, этакая русская красавица с толстой косой. Все знали на заводе, что тихая и добрая Нина равнодушна к Никандрову, что любит его безнадежно, ничем стараясь не выказывать этих чувств. Нина ни вдова, ни солдатка. Перед самой войной познакомилась с парнем. Только собирались молодые люди пожениться, грянула война, ушел парень на фронт в первые же дни, и скоро пришла Нине похоронка. Как раз в тот день, когда у нее сын родился. Теперь Нина воспитывает его, живет с сыном и матерью в маленьком домике, который перед войной построили для нее на берегу озера Мылки ее дружные братья.

На новогоднем вечере Нина много пела. Пела романсы глубоким контральто, пела вместе со всеми популярную в ту пору песню «Вечер на рейде». «Прощай, любимый город...» – выводили голоса под звуки аккордеона, и голос Нины выделялся особым чувством.

А через день, рано утром, ко мне ворвался Никандров, бледный с трясущимися губами. Никогда я не видел его в таком состоянии.

– Одевайся быстрее, едем! – прерывающимся голосом он, помогая мне надеть пальто. – Едем, дорогой все объясню...

И уже па улице, взяв в руки вожжи и хлестнув лошаденку, сказал с болью в голосе:

– Нину убили...

– Кто?! – я почувствовал в груди ожог гнева и нестерпимой жалости.

– Грабители... И дом сожгли. Всех убили, и мать, и сына...

Только вчера утром я видел из окна своей квартиры, как Нина везла своего малыша на санках в ясли. Санки порой и переворачивались на изъезженных колесах. Нина поправляла санки и двигалась дальше. Такую картину я привык наблюдать почти и каждый день. Появление Нины с сынишкой перед нашим домом означало: пора идти на работу.

И вот отныне я никогда не увижу ни Нину и ни ее ребенка. Никогда!

Стоим огорченные возле глубокой ямы-подвала, наполненной обгоревшими бревнами и досками: все, что осталось от дома Нины Болотиной. В мусоре какие-то обрывки тканей, обгоревший ящик патефона, помятый самовар. Медленно поднимаются в морозном воздухе струйки дыма. Останки убитых уже подняли и увезли. Мы стоим молча, не скрывая слез. Убийство было таким нелепым, невероятным. За что? Какие-то тряпки лишили разума соседа Нины, угрюмого, не раз в прошлом судимого мужика, из тех, кого никакие социальные перемены, никакие воспитательные меры не могут отвлечь от природной тяги к преступлению. Они, наверно, будут такие во все времена, у всех народов. Мужика убийцу в тот же день разоблачили. Милиция еле отстояла его от самосуда разъяренных жителей поселка.

Потом Никандров признавался мне:

– Нет Нины, Геннадий... Не верится, понимаешь. Сiju в кабинете, забудусь и хочу позвать Нину. словно что-то отняли от меня дорогое, ничем никогда незаменимое, невозполнимое. Я не любил ее, я еще никогда никого как следует не любил. И полюблю ли, не знаю. Но я знаю, что Нина любила меня, и никто так меня не будет любить. Это я чувствовал. Этого нельзя не чувствовать. Это такое счастливое состояние, когда чувствуешь любовь женщины. Оно может заставить тебя полюбить ее тоже. И вот всего этого, этой атмосферы любви, сознания твоей для кого-то нужности – больше нет!..

После смерти Нины Никандров ходил мрачный, неразговорчивый. Он заметно подзапустил все хозяйственные дела, ослабив административные вожжи. И в числе первых, заметивших перемены в Никандрове, были я и Кондратенко. Мы поделились своими соображениями с Яковом Никитовичем Копейкиным, нашим бессменным в годы войны секретарем партийной организации. Доверчивый, добродушный, он мало вникал в дела административные, справедливо полагая, что партийному вожаку больше достойно заниматься духовной стороной заводского бытия. Копейкин решил серьезно поговорить с Никандровым. Но он опередил нас, пригласил как-то всех троих к себе.

– Товарищи, я уже кое-кому говорил о своей болезни. Вот Гена знает. В последнее время болезнь моя обострилась. Врачи советуют настоятельно ехать лечиться в Москву. Можно и в Куйбышев. Но там жить негде. В Москве у меня сестра. Меня отпускают с условием: найти замену. Я нашел замену. Думаю, что Геннадий Хлебников и Иван Кондратенко сумеют меня заменить. Кондратенко станет директором, Хлебников – главным инженером. Очень надеюсь, что они выручат меня, согласятся. Управляющий сказал, чтобы через три дня кандидаты были у него на приеме. Для объяснений.

Хотя я и Кондратенко догадывались о содержании предстоящего разговора, но все же он взволновал нас. Мы знали тяжесть ответственности, которую хотели взвалить на нас. Всю войну оборудование, цехи заводские не ремонтировались. Нам предстояло принять разбитое обжиговое и сушильное хозяйство, изношенные до крайности машины. Но самое главное в предстоящих трудностях – до крайности тоже усталые люди и физически, и морально.

Но мы были молоды, мы были тщеславны. Стать руководителями завода – это чего-то стоит! Мы были неопытны и самоуверенны, и не подозревали даже о многих неприятностях, которые ожидали нас впереди. И на этом незнании держалась наша уверенность, что обязательно справимся. Такая уверенность – основа всякого успеха. Мы с безоглядной храбростью бросались в неизвестность, таящую неведомую нам опасность. Так бросаются в бурную реку не умеющие плавать, но готовые реку переплыть.

В дополнение ко всему, мы оба искренно сочувствовали Никандрову, веря в его болезнь, явно обострившуюся после гибели Нины Болотиной. Бабушкин, человек недоверчивый, ставил болезнь Никандрова под сомнение. Он говорил пренебрежительно, внося смуту в наши души:

– Бежит Никандров. Факт! От войны на востоке бежит. В Москве такие как раз места теплые делят. Никандров наш не опоздает. Да еще с орденом Красной Звезды, что получил недавно, едет. Вот увидите, помяните мое слово!

Через три дня Никандров уехал в Москву.

К десяти часам вечера вся площадь обжиговой печи была завалена брусками и тонкомерными стойками. Пахло смолой, дымком каменного угля, кирпичной пылью. Тишина установилась на обширной поверхности, величиной с футбольное поле, гофманки. Люди разбрелись по цехам, отправились на отдых домой. Двое мужчин в углу неспешно пилили бруски на чурки, чтобы их можно было бросать через узкие отверстия конфорок в огнедышащую утробу печи.

– Короче пилите, мужики, не хитрите мне! – покрикивала на пыльщиков обжигальщица кирпича Дуся Шестакова. Мощного телосложения она выглядела еще могучее в телогрейке, ватных штанах, в фартуке. Белое миловидное лицо, черные блестящие глаза контрастировали с убогой ее одеждой. Но стоило заговорить с нею, и ты уже не замечаешь грубой неженской ее одежды, видишь только ее приветливую улыбку, черные глаза с волнующим блеском.

– Что за бестолочь эти колонисты, – беззлобно возмущалась Шестакова. – Я им говорю: подтаскивайте козла, а не дрова. Так ведь удобнее. Они распилят, уйдут, а мне корячится всю ночь с охапками. До чего тупые мужики!

Когда одного за другим стали брать на фронт мужчин, дошла очередь и до редкой профессии рабочих-обжигальщиков, или как их называют кирпичники, взварщиков. Испокон веку эта профессия считалась сугубо мужской. Дуся Шестакова сама пришла к директору и объявила о своем желании стать обжигальщицей. И так рьяно взялась за овладение профессии огненной, что через полгода уже работала на печи одна, выдержав экзамен на мастера. А ведь профессия обжигальщика до сих пор еще держится на большом опыте, на интуиции, коей не каждый человек обладает. Нужен талант. Такой талант обнаружился в Дусе Шестаковой. И старший взварщик Утробин сказал о ней с уважением: «Редкая, скажу я вам, женщина. Нюх у нее, чутье есть на обжиг».

Дуся кратко и толково пояснила мне, как сегодня идет обжиг, сколько готовых «рядков» завтра можно выгрузить из чрева печи. Сказала с запоздалым испугом:

– Печь-то чуть не потушили. Мамынька, что делать-то тогда!
Молодцы, бабоньки, выручили крепко.

– На то они и хранительницы огня, – заметил я.

– Слушай! Никандров тоже называл меня хранительницей огня. Это как надо понимать? – впиалась в меня черными глазами Дуся.

Я стал объяснять, подыскивая понятные слова и сравнения. Я говорил, что в незапамятные времена, когда человек бродил по лесам в поисках пищи и жил в пещере, женщина первой догадалась принести в темную холодную пещеру головню, горящую от подожженного молнией дерева. В пещере стало уютнее и светлее. Женщина же научилась поддерживать огонь, подбрасывая сухие ветки. Люди к огню привыкли. Костер день и ночь горел в жилых пещерах первобытных людей. Следили за огнем, чтобы не потухал, женщины.

С тех давних пор и называют женщину хранительницей огня, домашнего очага, хранительницей, значит, семьи. Вот и сейчас – идет война. Мужчины бьют фашистского зверя. А миллионы женщин хранят семейные очаги, не дают потухнуть священному огню жизни. Не дают потухнуть огням тысяч заводов, в которых куется оружие для воинов наших.

– И не дадим потухнуть, – серьезно сказала Шестакова, выслушав мой рассказ о символе хранительницы огня. – Сохраним огонь.

Она взяла в руку стальной крючок-кочережку, стала открывать, одну за другой конфорки чугунные и бросать в раскаленные жерла узких отверстий дрова и мелкий уголь. Яркое пламя каждый раз освещало круглое лицо обжигальщицы, красило в красный цвет ее фартук. И, казалось, что эта женщина отлита из меди. Позвякивают конфорки, все дальше от меня отходит Шестакова, позабыв, кажется, про наш разговор и про меня.

А на улице с удесятеренной силой буйствовала пурга. С трудом ориентируясь, бреду домой, предвкушая чаепитие и сон. Болела от усталости голова, сосало под ложечкой: с утра ничего не ел. На полпути до поселка увидел в снегу что-то темное, неуклюже шевелящееся.

– Кто там? – крикнул я, приостановившись.

– Эго я, Нюра Кушакова, – отозвалась женщина. – Дрова разроняла... Никкак не соберу... Ветер, зараза!

Я слал помогать женщине. Вдвоем быстро собрали вязанку, перетянули веревкой.

– Под кинь-ка, – подставила плечо Кушакова. Куда тебе, Кушакова... Вижу: еле ноги держат, пошатывается Кушакова. Молча взвалил вязанку на спину, донес дрова до самых дверей барачной комнаты Кушаковой. Дверь раскрылась, на пороге стоял мальчик лет десяти, закутанный в серое одеяло. Посторонился, пропустил нас в комнату. Я осторожно опустил вязанку на пол возле плиты, огляделся. Три железные кровати, тумбочка, табуреты, домотканые половички. Единственно стоящая вещь в этой убогой мебелировке – скромненький буфет, сработанный руками хозяина. Перед войной я видел этот буфетик в столярке, над отделкой его трудился Аркадий Кушаков, лучший плотник завода.

Трое ребятишек Кушаковой, поменьше возрастом, вповалку спали на одной из кроватей под грудой одежды. Парок шел изо рта ребятишек – холодно в комнате.

– Сейчас протопим, чайку сварганим. Ты не спеши, Геннадий. Ведь и дома чаек захочешь греть? Растопляй плиту, я воды принесу, – Кушакова загремела ведрами, вышла. Я принялся разжигать печку. Скоро пламя весело заплясало на сухих, как порох дровах, и по комнате стало растекаться благодатное тепло. Вот уже и чайник зафыркал, зазвенел крышкой. Мы сидим с Кушаковой и ее бодрствующим сынишкой за столом и пьем морковный чай, сдобренный лимонником. Для сынишки я отыскал в кармане серый от табачной пыли кусок сахара.

– Ты картошку бери. Чай хорошо с картошкой, – угощала хозяйка, подвигая ко мне тарелку с холодной картошкой в мундире. Я деликатно беру одну, растягиваю на все чаепитие.

– Трудно тебе с ребятами, – киваю в сторону спящих детей, к которым присоединился и старший.

– Ох трудно! Так трудно, что не сказать, – с болью произнесла Кушакова. – Иной раз сердце зайдется от жалости, готово из груди выскочить. Сам посуди: триста граммов хлеба на ребенка. На меня восемьсот. Весь хлеб – две буханки. На пятерых! А кроме хлеба и есть нечего. Сейчас хоть еще своя картошка тянется. Трясусь над каждой, но есть пока. А ведь в первые годы войны и картошки не было. Не растили. Это во время войны только научились садить. На всем привозном в Комсомольске-то жили, сам знаешь. А война началась, как ножом привоз отрезало. Откуда везти-то! Все продукты из магазинов исчезли. Страшно вспомнить. Как только выжили, не пойму. Да и сейчас не больно легче...

Кушакова умолкла, задумалась, глаза печальные, страдальческие, наверное ей всегда видятся голодные глаза ее детей, бледных и не по-детски вялых от постоянного недоедания. Я глядел на нее и видел на лице этой еще молодой женщины морщинки от застарелых страданий. Кушакова посмотрела на меня и неожиданно рассмеялась. Даже чаем поперхнулась, замахала извиняюще рукой.

– Вспомнила тут одну историю, – заговорила Кушакова, сдерживая смех. – Маня ко мне часто приходит. Почтальонша наша. Ты знаешь, добрая она, Маня. И за ребятами присматривает. У нее самой девочка, войне ровесница. И муж тоже на фронте. Так вот Маня моя нет-нет и принесет тарелку каши ребятам, то сальца кусочек. А как-то литровую банку пшеницы принесла. «Парь, говорит, ребят корми». Хлеб. Принимаю, как не примешь, если дети голодные на тебя смотрят. Принимаю, сама боюсь. Заметила Маня, говорит: «Ты не бойся, не ворованное. Мне приносят». «Кто?» – спрашиваю. «А это уж мое дело, подружка». Но разве от бабы чего скрыть можно? Ни в жисть! Узнала я: директивники носят. Директивник к пей похаживает и продукты носит. Не понимаю я таких женщин, но и судьей быть не берусь. Ее дело. А Маня мое молчание по-своему рассудила. Как-то о полночь пришла, шепчет: «У меня тетка спит, в гости пришла, а ко мне парни заявились. Двое. Чуть выпить им надо. Ты наспусти. Мы тихо, ребят не побудим. Выпьют, уйдут». Неудобно отказать, пустила Маню с ее гостями. Два таких красномордых. Директивники. Вели себя чинно. В лагере к дисциплине приучены видять. Я с ними ни-ни, как ни просили. Не люблю я этого, вольности такой. Подвыпили директивники, хвастаться нашли помалу. Оба при складах продовольственных. Мы, мол, можем то, можем другое... И пшеница у нас, и сало, и колбаса американская в жестянках. Мол, бамовцев кормим, которые план дают, ну и им, при складах, отламывается. Слушаю, и такое горе меня взяло. Думаю: вот муж мой где-то сейчас в окопе сидит или в наступление идет с автоматом, а эти в тылу околачиваются, как крысы, ей богу! Встать бы, выгнать всех, да чтоб с криком, но не могу. Вроде я им, вернее Мане, обязанная. Ну то, да се, пора расходиться. Маня уходит со своим, один остается, медлит, время тянет, знаю, что на у него на уме, у окаянного.

Говорю: «Ну идите, мне завтра на смену рано, спать надо ложиться». «А я бы тоже, говорит, не прочь прилечь», – сам по комнате бесстыжими глазами зыркает. «Нет, говорю (без крика так, вежливо), иди, да побыстрее. Не хочется мне на помощь звать, людей будить. Людям тоже завтра на работу. Разбужу, разозлятся люди: тебе и мне попадет». Понял, скис, быстро собрался, ушел. Перед уходом я ему в карман бушлата сверток с салом сунула, бутылку со спиртом недопитым. Не нужны подарки, так проживем...

Вот такой загул у меня был, – с беспечным смехом заключила Кушакова рассказ свой и смешной, и печальный.

– Отстали? – спросил я, имея ввиду директивников.

– Как отрезало, – посмеиваясь и кутаясь в платок, сказала Кушакова. – К Мане ходят. Слабый она человек. И жалко ее, и плюнуть иной раз хочется. Не мне судить. Каждый человек сам себе главный и строгий судья, так я понимаю.

Я засобирался домой. Кушакова присела поближе к горящей печке.

– Николке штаны надо к завтраму, к школе... Горит все на парне, залатать надо.

Я продолжал путь к дому, борясь с ветром и колючим снегом, секущим лицо. И мне представлялась топящаяся печь, усталая женщина у огня с шитьем в руках, спящие на кровати дети...

Хранительница огня, семейного очага.

Колонисты



Лохтина Валя – бригадир садчиков кирпича

Утром в мой скромный кабинет тихо, как кот, вошел заведующий складом Степан Кузьмич. Он снял шапку-ушанку, обнаружив еще густую, несмотря на шестой десяток, не тронутую сединой шевелюру. Деликатно кашлянув, сказал:

– Я тут принес... списки. Что есть на складе, словом, – и положил мне на стол несколько листков, исписанных аккуратными буквами.

– А мне зачем? – недоумеваю, спросил я.

– Я к Кондратенко было пошел, он – к тебе... Чтоб ты, значит. Ну для контроля, для учета. Чтоб знать, что есть и так и аллее...

Высказав все это, Степан Кузьмич присел на продырявленный и измызганный (в спецовке садятся...) диван, положила рукавицы и шапку на колени. Я пробежал списки. Там значился спирт, картофель, соевая мука, резиновые и кирзовые сапоги, куски какой-то ткани, всего понемногу.

– Списки тебе, для учета. А сейчас идем, все в наличности покажу... Чтоб потом на меня... сам знаешь... Война... так и далее, – старик смотрел на меня умными честными глазами. Я понимал его опасения. И отправился инспектировать склад. Он располагался в добротном из бревен строении. На воротах увесистый замок, какие называют пудовыми. В складе холодно, пахло кожей, рыбой, машинным маслом, красками. Степан Кузьмич водил меня по отсекам, кратко докладывал:

– Вот спирт питьевой. Десять литров. Когда на морозе кто работает... По сто граммов когда... Помогает... В первую мировую я воевал... В окопах... мороз. Водку давали. Стопку – ожил! Помогает. Сейчас я не пью. Давно уже.

– Сапоги резиновые... Для формовщиков и землекопов в карьере. Двадцать пар еще в наличии. Горят сапоги на бабах. Клею нет. Заклеить бы некоторые. На, возьми одни. Скоро поплывет. Бери, тоже ведь все время на улице, – протянул мне сапоги Степан Кузьмич.

Предложение было столь заманчивым, что потребовалось усилие отклонить его. Как можно ходить в сапогах, если рядом с тобой люди в калошах, рваных ботинках, в опорках. Как можно! Я отказался, и чуть радостнее стало на сердце. Как же, все-таки всегда приятна хоть маленькая победа над собственной слабостью. А Степан Кузьмич с одобрением смотрит на меня живыми серыми глазами.

– А как ты все это выдаешь? – спросил я, имея ввиду весь этот вожденный дефицит.

– По записке директора. Ну и по твоей. А вы там согласуйте, – пояснил Степан Кузьмич. Я хотел уже покинуть склад, но Степан Кузьмич задержал меня.

– Вот камус достал Никандров накануне своего отъезда, – старик вытащил из-под стеллажа невыделанную шкурку, снятую с ноги лося. Из таких нанайцы шьют теплые и ноские торбоса.

– Много шкурок?

– Штук пятьсот, – уминая жесткими пальцами шкурку, ответил старик.

– А может раздать нуждающимся? Пусть шьют обувь, – обрадовался я.

– Выделывать надо шкурки, а за самовольную выделку по указу – срок, – вздохнул Степан Кузьмич.

Да, был в те времена такой указ. Я сам видел, как рабочие завода, державшие до войны свиней, резали их, а шкуру закапывали в землю. В Комсомольске шкуры некому было собирать и обрабатывать для государства.

– Зачем же брали камус, раз запрет? – спросил Степана Кузьмича.

– Брали... Думали как-нибудь, втихоря выделаем... Кожемяку не нашли. А брали за кирпич. Без всяких денег, так на так, от охотсоюза. Весной пропадут шкурки. Раздать бы их надо.

Я пообещал решить вопрос с камусовыми шкурками.

Пошла вторая неделя нашей с Кондратенко власти на заводе. И каждый день мы открывали для себя что-то новое, часто очень тревожащее нас, озадачивающее, а то и повергающее в растерянность. Таковую неожиданность мы с Кондратенко называли «след Никандрова»...

Таким следом для нас оказался зловещий топливный дефицит. Два вагона угля, задержанные в памятную ночь, не подавали еще три дня. С большими перебоями, уголь все же доставляли, но для обжига нужны обязательно и дрова. Мы прекращали на несколько часов все работы и выводили людей на пилку и колку дров. Не раз мы оказывались перед угрозой остановки обжига.

Сегодня я положил на стол Кондратенко сводку о дровах. Впервые за последние месяцы дров было запасено на три дня вперед.

– Вроде вырваться начинаем, – с плохо скрываемым торжеством говорю директору. Он хмурит домиком черные брови, мрачно молчит. Потом говорит с досадой:

– До первого бурана. Да и вывозить дрова с Амура не на чем. Бабушкин трактор пока не отремонтировал, подшипники по всему городу ищет. А лошади... Сегодня еще одна монголка пала. Кормим коней плохо, а работа каторжная.

Он долго и пристально глядит на меня: признак усиленных размышлений у моего директора-дебютанта. Он вытаскивает из стола список, показывает:

– Читай!

То был список личного состава отряда трудовой колонны, которая была прикомандирована к нашему заводу. Эти странные подразделения появились у нас в Комсомольске в сорок втором году. У них свой штаб, комсостав. Но одеты все в штатское, кто во что. В трудовой колонне народ в основном свыше сорока лет, но были и совсем молодые, еще зеленые юноши. Ни военные, ни вольнонаемные, ни заключенные. Их звали с оттенком пренебрежения – колонисты, подчеркивая неполноценность этих людей, подозрительную таинственность присутствия их в глубоком тылу. «Это в то время, когда наши солдаты гибнут на фронте, защищая свою Родину». Не чувствуя за собой никакой вины, колонисты сознавали ущербность, двусмысленность своего положения. Вели себя стесненно, как бедные, надоевшие всем родственники-нахлебники. Работали они плохо. Где справлялась наша одна кадровая работница, не справлялись четверо колонистов. Ни один не выполнял и четверти сменной нормы.

– Так работали наверно рабы Рима, – ругался Курносов, у которого на лесобирже на заготовке дров в основном трудились колонисты.

– Полсотни здоровых, трудоспособных мужиков, – задумчиво говорил Кондратенко, перечитывая список. – Если бы они на совесть работали, то мы бы и горя не знали. Ну как их заставить, как расшевелить? Главный инженер, предлагай.

– Что я предложу, не знаю, – отвечаю. – Давай сегодня сходим к ним, потолкуем по душам. Война идет к концу. С чем они домой будут возвращаться. Вот об этом и поговорим.

– А если еще из женщин кого-нибудь с собой взять? – предлагает Кондратенко. – Пусть постыдят, а? Ты как полагаешь? Мысль верная? Возьмем? Кушакову пригласим, бойкая бабочка.

Раньше мы не интересовались положением колонистов на производстве, особенно в быту. Ими занимался Никандров, да и то действуя через их командира, человека молодого, вечно пребывающего в отличном настроении. В обязанности командира входило вести кое-какой учет выхода подчиненных на работу. И все. По установленному Никандровым порядку и мы продолжали было действовать на эту непонятную и незнакомую нам людскую массу через командира Ефима Лымаря. Уроженец западной Украины, Лымарь, мало поживший в условиях советской власти, не успевший попасть в действующую армию, был вместе с другими «неблагонадежными» зачислен в трудовую колонну.

– А я что с ними могу поделывать, да? – возбужденно говорил Лымарь, сопровождающий нас в барак, где были поселены колонисты. – Ничего не могу! Они меня не слушают. В армии наряд можно дать, тут – ничего. Устное порицание. Вы вот сейчас узнаете, как они это порицание слушают. Пошлют к такой матери. А казахи? Те – видишь явно – ругают тебя последними словами на своем языке. Не поймешь их, да? Вот увидите сами, да?

Говоря все эти печальные слова, Лымарь не переставал улыбаться, показывая свои ослепительно белые зубы. И потому наверно не особенно приятные сведения принимались не так уж безотрадно.

Вечером, прихватив Кушакову, я и Кондратенко направились в барак, где жили колонисты. Барак был построен бойцами строительного корпуса еще перед войной. Там должны были поселиться те бойцы, которые работали на кирпичном заводе. Но началась война и все бойцы строительного корпуса, в первые же дни, покинули Комсомольск. Все они сражались под Москвой в грозном сорок первом, многие сложили головы, защищая столицу...

Внутри барак поражал своей пустотой. Какое-то несоответствие с жильем человеческим чувствовалось в этом огромном холодном помещении. Напротив входа стояла печь с обогревателем. Печь топилась, полыхая жаром. На веревках вокруг печи сушились портянки, валенки, бельишко. Густо пахло потом. Через минуту мы поняли, что несмотря на весело гудящую печь, тепло ее не согревало казармы, вдоль которой приткнулись полсотни топчанов. Отойди от печки на два шага, надевай ватник. Сквозь замороженные стекла дневной свет не проникает в казарму.

Первым нас заметил истопник, шуровавший кочергой в жерле печи. Он вскочил со скамьи, с нарочитой старательностью завопил на весь барак, прикладывая к виску широкую ладонь.

– Р-р-ота, смирно!

– Отставить! – принял шутку Кондратенко. И истопнику: – К пустой башке руку не прикладывают.

– Это точно, обмишулился маленько, – весело согласился дневальный и протянул руку. – Будем знакомиться? Меня зовут Василий Алексеевич, фамилия самая что ни на есть русская – Иванюшкин.

Мужчина улыбался щербатым ртом, смотрел на нас дружелюбно светлыми глазами. Он наверно понимал, что мы несколько смущены, что ищем нужные слова для контакта с этими угрюмыми, настороженными людьми, ждущими от начальства какой-нибудь очередной неприятности. Колонисты сидели на койках в томительном безделье возле стола, некото-

рые, несмотря на ранний час, спали, укрывшись поверх одеяла ватниками и полушубками, для тепла...

Узнав о цели нашего прихода, Иванюшкин стал созывать всех к столу, стоявшему в окружении скамей посередине казармы.

– Живей, мужики, директор поговорить пришел, – покрикивал Иванюшкин. В ответ недовольные реплики:

– Говорили уже, не раз...

– На словах как на гусях!

– Небось опять про нормы?..

– Господи! Ну чисто лагерь. Да там хотя лучше кормят...

Мы не заметили, как вслед за нами в казарму проникли ребята Кушаковой. Женщина хотела было их выгнать, но они разбежались по казарме, с любопытством рассматривая убогое убранство неуютного жилища колонистов, и приткнулись к койке бородатого мужчины. Я уже потом увидел, чем заинтересовал ребятшек бородатый. Он видимо уже давно сделал игрушку: четыре деревянные курочки клевали торопливо зерно, стоило покачать крашеную фанерную доску, на которой они закреплены. Рады были дети, и не меньше их радовался их радости бородатый мужчина, наверняка оставивший далеко в центре России, где-нибудь под Воронежем, семью, вот таких же белобрых ребятшек...

Люди нехотя, но к столу подходили, оставляя начатую починкой рубаху или валенок, недоеденную похлебку в консервной банке (ужин в столовке – на кролика). Молчаливые, насупившиеся, они рассаживались вокруг стола, только что прибранного Кушаковой. Она не успела зайти в казарму, как сразу же запрочитала и заохала, по-женски страдая душой от такой вот запущенности.

– Мужик он и есть мужик, – приговаривала она, принимаясь за приборку. – Баба за порог, он уже по уши в грязи. Леня пол подмести. Эй, – позвала она парня, сидевшего на постели. – А ну бери веник. Ишь расселся!

Другого молодого колониста послала к себе в барак за корытом и тот живо и охотно исполнил приказание. Пол подметался, портянки рукой Кушаковой сняты с веревок и замечены в корыте.

– Высохнут быстро, не бойтесь, – с улыбкой успокаивала она мужчин, встревоженных мыслью остаться утром без портянок. – Вот помоем, пот повыжмем, повысушим, так тепло будет и сухо, и без смрада этого. Ноги-то надо чаще мыть. Эх вы, опустили вы без баб!

Добродушная воркотня женщины прямо-таки благотворно влияла на обитателей казармы. Люди на глазах оттаивали душой, заулыбались, послушались шутки:

– Нюра, ты бы с нами оставалась, похозяйствовала у нас.

– Мы б тебя слушались.

– В сыновья возьмешь?

– Нужны вы мне, охламоны! У меня вон свои сыны есть. Есть за кем ухаживать, – незлобливо отбивалась Кушакова.

Сперва недоверчиво, с недомолвками, с подковырками начавшаяся беседа, становилась все откровеннее и конструктивнее. Мы терпеливо выслушивали все, что накопело в сердцах этих обездоленных людей. Больше и чаще других, от имени собравшихся, говорил Иванюшкин.

– Вот вы нас обвиняете: работаем плохо, – рассуждал он. – Но ведь к нам и отношение плохое. Посмотрите как живем? Всю зиму минусовая температура. А на поселке десятки комнат пустуют, жить в них некому. Когда нас пригнали на завод, мы было заняли комнаты эти, а Никандров согнал нас вот в этот сарай.

– Говорил Никандров: вы люди почти военные, вот и живете по-военному! – выкрикнул кто-то.

– Тихо, товарищи, – поднял руку Иванюшкин. – Давайте по порядку. Сигнал в сарай этот. Приставил к нам коменданта Служеникина, чтобы побудку делал, отбой.

– Надоел нам Служеникин, уберите его от нас! – крикнул бородатый, подаривший ребятишкам Кушаковой игрушку.

– Подождите, – вел разговор Иванюшкин. – О коменданте потом. В столовке нас обслуживают в последнюю очередь, талоны на дополнительное питание, муку там соевую, котлеты соевые совсем не дают. Ни разу. Другим всем дают. Несправедливо это.

Мы слушали жалобы этих обиженных людей, окруженных незаслуженным недоверием. Мы сами испытывали это недоверие на себе постоянно, воспитанное еще в довоенные годы когда даже в очень знакомом человеке под воздействием наветов мы подозревали врага народа или его пособника. А колонисты, перебивая друг друга, говорили о себе, о своих нескладных судьбах людей, разметанных по земле ураганом беспощадной войны, беспощадного времени, в котором не принято заниматься каждой отдельной судьбой, человеческой личностью. Вал первоначального наступления немецко-фашистских войск подминал, тащил по земле, выбрасывал на незанятую врагом территорию массы людей. Кто вышел из окружения, кто еще не успел отмотобилизоваться и, порой, прямо от сборных пунктов военкомата бежал с узелком, собранным матерью, на восток, к своим, с надеждой получить там назначение в воинскую часть. Были среди колонистов бывшие партийные и советские работники, председатели колхозов, городская и сельская интеллигенция. Сам Иванюшкин был председателем колхоза под Смоленском. Успел эвакуировать скот, ценное имущество, многих людей. Сам пошел в военкомат. Направили в трудовую колонну.

– Может нужны такие части, но зачем же бирку неблагонадежных нам на шею вешать? – задавал он нам горький вопрос от имени себя и всех собравшихся в этой странной и отвратительной казарме.

– Никандров нам что говорил, – крикнул снова бородатый. «Если вы не были ничем запятнаны, то воевали бы на фронте. А на Дальний Восток, мне думается, вас везли, ой, не зря! А поэтому – работайте и помалкивайте. И о правах своих мне побасенки не рассказывайте».

Беседа затянулась до полночи. Нюра давно отвела детей спать, вернулась. А мы все говорили. Мы твердо обещали колонистам решительно изменить отношение к ним.

– Считайте себя такими же рабочими, как все. Талоны на дополнительное питание будете получать наравне со всеми, на общих основаниях, – разъяснял Кондратенко.

– А жить в этой трущобе?

Завтра же разрешаю всем переселиться в пустующие комнаты.

Колонисты обрадовано загудели:

– Вот за это спасибо!

– Хоть жилье будет человеческое!

– И в тепле, и сварить что себе на печурке.

– Посушиться вольготнее, аль постирать что.

Самые нетерпеливые кинулись к своим топчанам собирать пожитки, загремели крышками самодельных сундучков.

По просьбе колонистов вызвали Служеникина. Заспанный, и испуганный, он смотрел на всех непонимающими белесыми глазами. Был он худ, плюгав, с безбородым лицом скопца. Моргая рыжими ресницами, он спрашивал:

– И чем дело? Почему не спите? Нарушаете... – но, заметив, что мы с Кондратенко смотрим на него осуждающе, неодобрительно, хитрый Служеникин сразу угадал наше настроение и умолк, выжидая очередную реплику, чтобы определить свое отношение к происходящему. Мы-то хорошо знали Григория Егоровича Служеникина. До войны, в конце роковых тридцатых годов, он ходил у нас в секретарях ищи ячейки. Это были печальные трагические годы тотальной слежки, подозрительности, в мутной воде которой плодились и чувствовали себя

вершителями судеб, исполнителями высшей воли, вроде Служеникина, выродки. Недалекий попросту говоря дурак, он не мог логично мыслить, говорить. Когда выступал на трибуне, то из всей словесной шелухи, изрыгаемой этим человеком, запоминались только здравицы в честь «вождя народов». Кричал противным фальцетом, брызгая слюной: «Да здравствует вождь мирового пролетариата... продолжатель... Ура, товарищи!» Люди заученно-послушно, казенно кричали «ура!», ощупываемые рыбьими глазами Служеникина.

Такой вот был Григорий Егорович Служеникин, ныне комендант общежитий поселка. И коммунальником он был никудышным. Держался на посту благодаря тому, что числился хоть и в маленькой, но номенклатуре после секретарства, да еще благодаря всеобщему привычному пренебрежению парода к своему быту. «Лишь бы немца побить! Что там быт...» Об умственной тупости Служеникина ходили анекдоты, основанные на реальных фактах. Согнал же Григорий Егорович тех же безропотных колонистов из казахов в только что пущенную в действие дезинфекционную камеру и приказал пожарче топить ее, чтобы «вшей выгнать» из одежды. Больше пятидесяти градусов колонисты не выдержали, разбежались, повергнув в скорбь заботливого администратора. Люди хохотали, прознав про распоряжение Служеникина.

– Вы больше не касайтесь колонистов, Григорий Егорович, – сказал Кондратенко. – У них есть командир, Ефим Лымарь. Он ведет учет, отвечает за организацию труда отряда.

– Так он же спать к жене ходит, Лымарь-то, – хмыкнул презрительно Служеникин. – А за людьми присмотр нужен. Я ведь не по себе сам, я по приказу. Никандров приказал.

– Я отменяю приказ, – сухо сказал Кондратенко.

– Ну если так... – недовольно пробормотал Служеникин и покинул казарму, правильно поняв, что больше тут не нужен.

Пока мы выясняли отношения с колонистами, уточняли детали переселения и другие вопросы, Кушакова долго о чем-то говорила с мрачным чернобородым казахом, мужчиной лет сорока. Взгляд его черных глаз был диковатым, не допускающим какого-либо сближения. Этого, наглухо замкнутого в себе со своими душевными тайнами человека, побаивались все – и колонисты, с ним жившие, и все, кому приходилось с ним общаться. Служеникин, так тот звал казаха басмачом. «Дай ножик, не моргнув глазом, прирежет», – говорил он. Вот уже полмесяца «басмач» не выходит на работу. И если за ним посылают, «басмач» молча показывает ногу, разматывает грязные, дурно пахнущие тряпки со смуглой ноги. Посыльный брезгливо машет рукой и оставляет «басмача» в покое. И вот этот угрюмый человек говорит о чем-то с Кушаковой. Я увидел, как казах поставил больную ногу на табурет, стал разбинтовывать ее, скаля от боли белые зубы и бормоча что-то. Кушакова тем временем принесла ковш горячей воды с плиты, таз, стала промывать ступню «басмача». В руках ее появилась белая тряпка, наверно принесенная из дому; она умело и быстро забинтовала ногу.

Когда я подошел к ним, казах уже прилег на постель, смотрел на женщину полными благодарности глазами.

– Мужик – он и есть мужик, – снисходительно говорила Кушакова. – Пусть он русский или казах – все одно. Этот чудила указала на больного, – приморозил большой палец. Загнивание. Недалеко и до гангрены. Промыла марганцовкой. Я своих ребят всегда марганцовкой лечу. Поправится. А то ведь и без ноги можно остаться. Ты понимаешь, Рашид? – обратилась она к казаху. Тот согласно закивал головой, говоря что-то по-казахски.

Поправляйся, на работу выходи. Сидеть будешь – пропадешь. Не от болезни, от тоски пропадешь, – сказала на прощание своему пациенту Кушакова и покинула казарму. А мы с Кондратенко задержались. Люди так разговорились, что не могли остановиться. Беседа, словно костер от новых хворостинки, не затухала, огонь новой темы вспыхивал снова, затейливо змеился, возобновляемый все новыми фразами. Тут я заметил одну из кроватей пустой, аккуратно прибранной. На сером одеяле лежала гитара с поцарапанной декой и голубым бан-

том на грифе. На стене над кроватью – фотографии молодого человека в обрамлении еловых лапок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.